

Николай ПОЛОТНЯНКО

г. Ульяновск

МИЛЛИОН

рассказ



В автобусе было тесно и жарко. Притиснутый к задней стенке Масляков ощупывал в кармане потными пальцами сторублёвую бумажку и решал трудный вопрос: платить или не платить? Голоса кондуктора, призывающего к билечиванию пассажиров, не было слышно, сотенная была последней, и всё это возбуждало в Алексее Борисовиче нехорошие и трусоватые мысли о безбилетном проезде. Один раз, когда где-то в середине автобуса люди зашумели, он, напуганный этим, уже было достал свою мятую сотку, но тревога оказалась ложной, и Масляков засунул денежку поглубже в карман.

Автобус гремел железными внутренностями, скрипел и дребезжал разбитым кузовом, и все сорок минут езды до своего микрорайона прошли для Алексея Борисовича в тягостном борении между страхом быть разоблачённым и оштрафованным и нежеланием расстаться со стольником. Конечно, совесть бывшего советского инженера взывала к оплате, но, когда толпа особенно жестоко напёрла на него, впечатывая грудную клетку в стальной поручень, возникла оправдывающая мысль об автобусной несправедливости. Ведь платят все поровну, но одни едут вольготно — сидя, а другие — на одной ноге. Сорокапятилетнему Маслякову, естественно, место никто не уступил, так за что платить полную цену?.. Это была явная социальная дискриминация, и не такая уже мизерная, если учесть, что последние три месяца Масляков каждый день мотался из одного конца города в другой в поисках работы. И всё впустую, как и сегодня.

В середине весны НИИ, где он двадцать лет проработал сначала инженером, потом ведущим инженером, основательно сел на финансовую мель, и половину отделов, в том числе и тот, где работал Масляков, сократили. Протестующего шума не было — так, поговорили, кое-кто в негодовании сплюнул в сторону портрета красномордого здоровяка со счастливой улыбкой на лице, который висел в конференц-зале, где директор огласил приказ, и все заторопились по домам. Масляков зашёл в отдел, положил в портфель электрокипятник, фарфоровую кружечку, из которой, бы-

вало, попивал кофе во время обеда, достал из стола общую тетрадь в клеенчатой обложке, где была почти готовая кандидатская диссертация, и тоже сунул её в портфель, оглянулся по сторонам и вышел вон.

Первое время вынужденное безделье его не особенно тяготило, он отоспался, вылежался, отдохнул почти по-отпускному, но вскоре на ум стали приходиться тревожные мысли. Перед ним явственно замаячил непростой вопрос: что делать дальше – как жить? Изредка встречаясь с бывшими сослуживцами, Масляков с унынием замечал, что и те маются неприкаянными, по специальности нигде их не берут, вместо кульмана предлагают в лучшем случае метлу и совковую лопату. Только двое или трое извернулись: занялись спекуляцией бахламом, заделались бизнесменами и чувствовали себя вполне вольготно.

Прошёл один месяц, другой, третий... От бесполезных мотаний по городу в поисках места у Маслякова начали пошаливать нервы, после каждого очередного отказа стало нехорошо стискивать сердце, в отдел кадров он уже входил несмело, как-то бочком, робко, разговаривал заискивающим голосом, торопился вывалить перед кадровиком свои достаточно истрепавшиеся за время хождения документы: паспорт, трудовую книжку, диплом, стопку авторских свидетельств. Да и сам Масляков за время своих унылых хождений порядочно поистрепался. Пиджак залоснился на рукавах и лацканах, на обшлагах не хватало пуговиц, карманы штанов пузырились, но дело было даже не в этом. Просительство и искательство наложили на него отпечаток обречённости, какой бывает только у закоренелых пьяниц. Черты лица, прежде безмятежного и уверенного, стали жёстче, от крыльев носа к углам губ пролегли две глубокие морщины, глаза приобрели лихорадочный блеск, волосы поредели, а при разговоре появилась привычка покашливать. Масляков слегка забомжевал, и это отпугивало и настораживало работодателей. Диплом, авторские свидетельства, беспорочная двадцатилетняя служба на прежнем месте значения не имели, ему отказывали, в лучшем случае приглашали заглянуть этак месяцев через пять-шесть.

Сегодня Масляков сунулся было по объявлению на галантерейную фабрику, где требовался агент по сбыту продукции, но, потолкавшись среди двух десятков претендентов, которые толпились в коридоре, безнадежно махнул рукой и почти весь день бесцельно бродил по центральной улице города, тянул время, чтобы вернуться домой попозже. Он долго сидел на скамейке в сквере, тупо смотрел на спящих людей, вереницы машин, вывески, потом сорвался с места и пошёл на берег Волги, где так же долго и бесцельно смотрел с высокого берега на широкую воду, мост, редко проплывающие суда и вальяжно расхаживающих по аллее голубей. Всё это существовало как бы отдельно от него, исчезло, пронеслось мимо, не задевая сознание и душу, где были только усталость и пустота.

«Эх, заснуть бы сейчас, – лениво подумал Масляков, затыгиваясь подобранным на асфальте сигаретным окурком, – заснуть бы сейчас лет на двести-триста. Заснуть, чтобы не видеть этого бардака».

Это была первая и единственная возникшая у него за весь день мысль, и, усмехнувшись ей, он поднялся со скамейки и пошёл к остановке автобуса.

При возвращении домой самым неприятным для Маслякова местом был подъезд, возле которого постоянно сидели старухи. Раньше он почти не замечал их, проходил, помахивая портфелем, еле отвечал на приветствия пенсионерок. То было раньше. Сейчас же он норовил как можно быстрее и незаметней прошмыгнуть на лестничную клетку.

В квартире пахло мылом, шумела стиральная машинка, Ольга на балконе развешивала мокрое бельё. Увидев мужа, она крикнула:

– Поддай прищепки! Они в кладовке.

Масляков разулся, взял прищепки и пошёл к жене. На балконе он неловко потоптался и, наконец, как бы через силу пробормотал:

– А у меня, понимаешь, опять ничего не вышло.

Ольга погладила мужа влажной рукой по щеке.

– Ничего, Лёша. Со временем всё образуется, ты ведь не виноват, что так всё случилось...

У нас хоть резни да холеры пока нет. А работа найдётся...

Масляков сморщился, зашмыгал носом и отвернулся. Да, подумалось ему, может быть, всё и обойдётся, но когда это ещё будет. Ольга всё-таки молодец. Другая бы заела за безденежье, а эта тянет безропотно на свою учительскую зарплату его и дочь, которая сейчас гостила у бабушки.

— Ты, наверно, ругаться будешь, Лёша, — виновато сказала жена, когда они ужинали. — А я ведь не устояла, продала то кольцо, что ты мне из Египта привёз. Оно мне ни к чему, пальцы опухли, не лезет. А цену хорошую дали. Вот мы и с деньгами.

Масляков вздрогнул. Деньги, деньги... Куда ни сунься, всюду деньги.

Вечером они смотрели телевизор. Сначала какой-то американский детектив с полусотней убийств, потом «Лотто-миллион». Крутился барабан, метались шары, ржала и хлопала в ладоши нанятая на вечер публика. Потом ведущий объявил, что кто-то в Чебоксарах выиграл шестьсот шестьдесят миллионов рублей.

— Вот повезло! — вздохнула Ольга.

— Если уж что и иметь, так лучше миллион долларов. Это всё-таки надёжная сумма, — задумчиво произнёс Масляков. Дальше по телевизору показывали ещё один фильм, но Алексей Борисович смотрел его вполглаза. Слово «миллион» отпечаталось в его мозгу, как протекторы тягача на мокрой глине, и что бы там ни мельтешило на экране, мысли неутомимо возвращались к одному и тому же — к миллиону.

«Конечно, — думал он, лёжа на диване рядом с женой, которая перед сном всегда читала фантастику. — Миллион — это хорошо, это здорово, но сумма устрашающая, где взять такую? Заработать её за жизнь не заработаешь... Украсть?.. Грабануть какой-нибудь банк?.. Нет... Грабёж, кровь, тюрьма... Так и миллион не захочешь... Лучше, конечно, займешь миллион нечаянно, ну, найти, что ли... Вон в газетах пишут, что бизнесмены в кейсах большие суммы носят. Допустим, подпил бы один такой и потерял миллион. А я бы нашёл. А почему бы и нет?.. Ведь везёт же другим. Милли-

он... Если по сто долларов, это сколько пачек будет?.. Сто пачек... Пожалуй, в кейс не войдут, хотя сегодня какой кейс. Да, найти бы где-нибудь в кустах... А дальше что делать с миллионом?..»

Масляков открыл глаза и покосился на жену.

— Оля, допустим, у меня появился миллион долларов, что бы мы с ними стали делать, на что тратить?

Жена оторвалась от книжки и рассмеялась.

— Спи, выдумщик! Таких забот у нас никогда не будет.

— Ну а вдруг... Должен же я с женой посоветоваться, ведь деньги-то у нас всегда были общие.

— Этот свой миллион можешь тратить как хочешь, — улыбнулась жена. — Погоди, мне две страницы осталось дочитать...

— Перво-наперво, — сказал Масляков, — деньги нужно надёжно спрятать. Врут, что в банках доход. Убегут, и концов не сыщешь. У меня мать деньги всегда в валенок прятала... Нужен, конечно, дом, настоящий дом комнат на двенадцать, с участком в гектара полтора леса, чтобы и грибы, и ягоды... Машины две, тебе и мне... Нет! Сначала нужно уехать отдыхать. Сначала — в Париж, потом — в Рим, в Мадрид, на Багамы... Уехать на полгода... А то ты у меня, кроме Казанского вокзала, ничего не видела. В Париже осенью хорошо!.. Приоделись бы, причепурились — и дальше!.. К весне бы вернулись и за дом взялись... Матери твоей помочь бы надо... Или к себе возьмём?.. Можно и к себе... катер купить бы надо... Представляешь, по Волге... Да...

Жена захлопнула книгу, выключила свет и повернулась лицом к стене, а Масляков, засыпая, ещё долго лепетал о будущих поездках, покупках, о каком-то рысаке, ферме, пока окончательно не заснул с блаженной улыбкой на лице.

С этого момента, когда Алексею Борисовичу пришла мысль о миллионе баксов, жизнь его заметно повеселела. Он даже сходил в парикмахерскую и постригся, стал надевать новый костюм и рубашки, которые прежде тщательно берёг. Отказы в приёме на работу, которые сыпались на него с прежней неотвратимой регулярностью, уже не огорчали. Он улыбался в лицо кадровику, презрительно хмыкал и, вы-

ходя, громко хлопал дверью. Как-то само собой получилось, что в душе Масляков стал чувствовать себя миллионером, и это приносило ему неизведанное доселе наслаждение. Мысль о миллионе согревала и тешила его в бесцельных блужданиях по городу, в очередях, в толкучке горячего, как чайник, автобуса.

Так прошло несколько счастливых дней, занятых мечтами о далёких странах, о встречах с тем, что когда-то им было увидено по телевизору или прочитано в книгах. Масляков по вечерам увлечённо разглядывал потрёпанный атлас мира, прикидывал маршруты будущих путешествий и умиротворённо отходил ко сну, где его дневные грёзы как бы воплощались в явь: он ехал, летел, плыл куда ему хотелось, и ничто не стесняло его желаний.

Неприятность, как всегда это бывает, выскочила невесть откуда и неожиданно. Позвонил институтский приятель и сообщил, что умер их бывший начальник отдела, которого тоже сократили вместе с Масляковым.

— Слушай, так Петровичу всего пятьдесят пять?.. — промямлил в трубку Алексей Борисович.

— Мотор не выдержал. Что тут удивительно?.. Подходи к двум часам.

В глухом дворе панельных пятиэтажек стояли катафалк и автобус, возле подъезда толпились молчаливые люди. Масляков поднялся на третий этаж, вошёл в открытые двери квартиры. Зеркало в прихожей было занавешено, в комнате на двух табуретках стоял гроб. Рядом с ним сидела женщина в чёрном платье и чёрной косынке. «Жена», — понял Масляков и покосился на гроб. Не решаясь сразу посмотреть на покойника, он сначала глянул на ноги и увидел выпирающие из узкого гроба чёрные туфли со стёртыми подошвами, затем серые брюки, край пиджака, восково-жёлтые скрещённые на груди руки, галстук, высоко поднятый подбородок, острый, выступающий над запавшими щеками нос и плотно сомкнутые веками глубоко ушедшие внутрь черепа глазницы. У изголовья, озаряемая пламенем свечи, стояла икона. Масляков судорожно сглотнул подкативший к горлу сухой комок и перекрестился.

Окна в комнате были плотно закрыты, и в спёртом воздухе витал запах тлена. Здесь, в этой комнате, смерть провела черту, отделившую мёртвое от живого, вечное от временного, истинное от случайного, произошёл разрыв в течении времени, возникла устрашающая чёрная дыра, заглянув в которую Масляков содрогнулся и ощутил ледяной озноб.

Нашупывая рукой перила лестницы, он спустился вниз, глубоко вздохнул и прислонился к стволу берёзы. Спелая, кое-где уже тронутая желтизной листва чуть слышно шумела на ветру, кора дерева была на ощупь жестка и колюча, корявые корни жадно вцепились в бесплодную городскую землю, а рядом из распахнутых настежь дверей показался край гроба, взмахнул чёрными крылами шопеновский марш, провожающие стали садиться в автобус, и траурный кортеж сначала медленно, потом, всё быстрее и быстрее набирая скорость, помчался по улицам осеннего города.

После поминок, не сговариваясь, Масляков с приятелем зашли в магазин, купили бутылку водки и спустились к Волге. На пляже было пусто, ветер гнал по песку начавшую уже опадать листву, серые волны нехотя накатывались на бетонные плиты.

— Ну, что ж, помянем Петровича, — сказал приятель, наполняя бумажный стаканчик. — Путёвый был мужик во всех смыслах. И как человек, и как инженер. И ведь как помер! Не болел никогда. Помнишь, в прошлом году в волейбол играли, как лось прыгал. Это всё жизнь. Выкинули из института, три месяца — и спёкся. Я на него посмотрел в гробу и о себе подумал. Мне, Борисыч, тоже надоело жить, устал, понимаешь, устал я жить, будто не сорок мне лет, а все сто!.. Нету у меня интереса к жизни. Мельтешат вокруг, как тараканы, бизнесмены, рэкетеры, просто рвань, а человека не видно...

Водка была тёплой, вечер тусклым, зелёная грязная вода бугрилась волнами, на которых покачивались грязные и обтрёпанные, будто нищие беженцы, молчаливые чайки.

— Выдь на Волгу!.. — воскликнул захмелевший приятель. — Вышел. Ну и что?.. Огромная

вонючая лужа, в которой появилось чудо-юдо, бледная рыба поганка по кличке «душман». Перегородили Волгу десятком плотин, и не течёт она никуда, болеет и гниёт. Так, брат, и вся Россия. Сначала одни её мурыжили семьдесят лет. Теперь другие мурыжат. Эх!..

— А меня знаешь что сегодня поразило, — задумчиво сказал Масляков, морщась от водки. — Не смерть даже, нет!.. Кого сейчас удивит этим. Меня поразила надпись на железной пирамидке с крестом, что Петровичу поставили. Вернее, не надпись, а цифры — 1949— 2004. Цифры понятно — год рождения, год смерти, а вот тире — чёрточка между ними. В этой чёрточке вся жизнь его уместилась, вся!.. И детство, и юность, и учёба, и работа, и любовь, и ненависть — словом, вся жизнь. Если хочешь, это надгробное тире, как бы зачеркнувшее человеческую жизнь, и содержит в себе весь смысл нашего бытия. Как ни бейся, как ни гоношись, но придёт нечто, что сильнее нас, и всё зачеркнёт, как ошибку.

За разговорами они просидели на берегу до темноты. Когда Масляков вернулся домой, Ольга уже спала. Алексей Борисович, смущённый своей задержкой, быстро разделся и юркнул под одеяло. От жены веяло уютным домашним теплом, из сумерек засыпающего сознания привычно всплыла мысль о миллионе, о том, как он его будет тратить. Качнулись зовущей бирюзой волны Ионического моря, зашелестели паруса яхты, калейдоскопом промелькнули панорама Парижа, развалины Колизея, силуэт Виндзорского замка, и вдруг будто чья-то невидимая рука смешала эту разноцветную мозаику. Невесть откуда пахло сыростью из разверстой могилы, послышался стук падающих на крышку гроба комьев земли, закачалась железная пирамидка-памятник с убийственной чертой между двумя цифрами, и, всхлипнув, Масляков очнулся от дрёмы.

Жена тоже проснулась и тревожно спросила: — Что с тобой, Лёша? Может, сердце?

— Да нет, — ответил Масляков, поворачиваясь на спину. — Так, мысли всякие... Знаешь, Оля, если бы у меня был миллион, то ни в какие Парижи я бы не поехал. Что толку?.. Толь-

ко деньги профукаешь да заразу какую-нибудь подхватишь. Нет, Оля, на эти деньги нужно храм выстроить. О Боге мы позабыли, вот все и беды от этого. Обязательно нужно храм построить, вон на пустыре у нас в микрорайоне, где хотели кабак строить, даже яму под фундамент выкопали...

— Какой ты у меня ещё ребёнок, Лёшенька, — вздохнула жена. — Всё мечтаешь.

На следующий день Масляков окончательно укрепился в мысли о строительстве храма. Он не пошёл по очередному адресу в поисках работы, побывал в церкви, первый раз за всю жизнь. По деревянным истёртым ступеням Алексей Борисович поднялся на паперть, протиснулся сквозь толпу внутрь и умилился сердцем, увидев торжественное убранство храма, мерцание свечей перед иконами, людей, погружённых в созерцание недоступного и вечного, перед чем всегда, подобно мотыльку перед ярким светом, трепещет человеческая душа. Запел церковный хор, мелодия ветхозаветного псалма, в котором Масляков не разобрал ни слова, была так чиста и пронзительна, так благолепна и свежа, что у него на глазах выступили слёзы неизведанного доселе восторга от ощущения причастности к великому таинству. Вместе с тем Алексея Борисовича смущало и угнетало то, что он был среди молящихся не то что чужим, но всё равно каким-то посторонним. Все крестились, клали поясные поклоны, шептали слова молитвы, а он стоял столбом и только озирался вокруг. Какая-то старушонка жёстко ткнула его сухим кулаком в спину и прошипела:

— Чего лупишься, нехристь!

Смутившись, Масляков начал пробираться к выходу.

Вечером он пошёл на пустырь. Солнце садилось, его заходящие лучи золотили края плотных белых облаков, приобретших очертания кремлей и соборов, медленно и торжественно плывущих над вечерней землёй. Горько пахло спелой полыньёю, под ногами похрустывали стебли сухой травы. Котлован под фундамент оказался громадной, впопыхах вырытой ямой, на дне которой зеленела вода, высились кучи

хозяйственного мусора, сносимого сюда жильцами близлежащих домов.

Масляков присел на обломок валявшегося в траве бетонного блока и огляделся по сторонам. Вокруг пустыря стояли девятиэтажки, кое-где в окнах уже горел свет, доносилась музыка. Несмотря на это, микрорайон производил впечатление плохо обжитого места, просто это были поставленные в беспорядке дома, где люди коротали время в бетонных квартирах перед мерцающим экраном телевизора. В сумерках микрорайон вымирал, только изредка, боязливо озираясь, пробежит запоздалый прохожий или проедет, сверкая мигалкой, милицейская машина.

«Построить церковь, — подумал Масляков, — и как много здесь изменится! И денег на это дело не жалко. За полмиллиона долларов можно такой храм отгрохать. На века! И мне бы после смерти здесь место нашлось...»

Был четверг, и по телевизору опять показывали очередной розыгрыш тиража «Лотто-миллион». Мелькали шары, на табло высветилась выигрышная комбинация, ведущий передачи выкрикивал умопомрачительные суммы выигрышей.

— Всё! — решил Масляков. — Была не была!

Утром он дождался, пока жена уйдёт на работу, и достал коллекцию марок, которую собирал с детства, даже ходил в кружок, в филателистическое общество, и лишь в последние годы охладел к этому занятию. Среди его собрания было несколько редких марок, за которые ему предлагали весьма крупную сумму денег. Масляков положил их на чистый лист бумаги, просмотрел через лупу и спрятал в чистый конверт. К обеду он уже был при деньгах. Скупщик был страшная жила. Алексею Борисовичу пришлось отчаянно торговаться, и после этой схватки у него болела голова, он не мог сосредоточиться на чём-то определённом. Со стороны Масляков являл собой странное зрелище. Он шёл по аллее центральной улицы города, размахивал руками, то присаживался, то вдруг вскакивал со скамейки и что-то бубнил себе под нос.

Возле первого попавшегося ему киоска «Лотто-миллион» он остановился в задумчи-

вости, огляделся, потом решительно подошёл к окошечку и протянул в него пачку денег.

Все оставшиеся до розыгрыша тиража дни он жил в лихорадочном возбуждении, которое периодически сменялось длительными приступами страха и неуверенности в себе. Масляков стал скрупулёзно изучать свою внешность, подолгу разглядывал себя в зеркало, находя всё больше и больше изъянов. Сначала ему стало казаться, что у него начал расти нос, и он подолгу стоял у трельяжа, разглядывая себя со всех сторон. Затем ему решительно не понравились уши, явно нелепые, мясистые, как вареники, потом привели в расстройство губы, особенно нижняя, оттопыренная и всегда мокрая.

«Несоответствие носа и ушей, — пронеслось искрой в мозгу Маслякова, — может привести к плоскостопию и утрате миллиона».

Нет, свой миллион он так просто не отдаст, все деньги до последнего цента были расписаны Масляковым на заранее решённые траты. Церковь, дом для семьи, машины, кругосветное путешествие.

Но тот голос со стороны, решительный и уверенный в себе, внушал: «Болван!.. У тебя дверь из ДСП. Пни хорошенько — и развалится. Ищи-свищи тогда свой миллион».

И Масляков занялся укреплением входной двери. С обеих сторон он нашёл на неё по слою толстой фанеры, врезал дополнительный второй замок, лампочку на лестничной клетке, чтобы не выкрутили, заключил в проволочную сетку.

Много забот доставило оборудование тайников для миллиона. Масляков решил их сделать два, чтобы рассредоточить капитал и не хранить в одном месте, что было бы весьма удобно для вора. В выдвижном ящике комода он соорудил двойное дно, куда вполне могло войти тысяч пятьсот стодолларовыми бумажками. Остальные деньги Масляков предполагал спрятать под досками пола на балконе, решив, что уж там-то, на виду у прохожих, никто искать их не будет.

Перед розыгрышем тиража, в четверг, он впал в сумеречное, тревожно-сонливое состо-

яние. То в голове раскалёнными искрами металась обрывки каких-то слов и фраз, то его сознание надолго заволакивала мутная серая пелена, и он сквозь неё слышал, как сосед с первого этажа, по виду явный бандит, договаривается с дружкой подломать масляковскую квартиру, и только одно их останавливает, что не знают, где искать деньги.

Вечером Масляков включил телевизор и уселся перед ним в кресло. Наконец на экране выскочил бойкий ведущий, закружились в бевсовском танце шары и стали высвечиваться цифры выигрыша. Когда выпал последний шар, Масляков возбуждённо соскочил с кресла и с радостными воплями стал кружиться по комнате!

— Миллион! У меня есть миллион!..

...Врач психбольницы с любопытством смотрел на сидевшего напротив него субъекта.

— Ну, Масляков, как вы сегодня спали?

— Нормально. Вот только тараканов здесь много. Один в ухо забрался и щекотится усищами.

— Нет у нас тараканов. Это вам кажется.

— Как нет, есть.

— Ладно, оставим это. Давайте лучше поговорим о миллионе. Он что, действительно у вас есть?

Масляков нахмурился и опустил глаза.

— Ну, так как? Может, его и нет в природе, этого миллиона?..

— Как нет, если я его сам спрятал!.. До него никто не доберётся. Скоро мы его с вами начнём тратить.

— Да?.. Интересно, интересно. И каким образом?

— Надо тут у вас ремонт капитальный сделать, а то поэтому в церковь никто не ходит. Потом, когда закончим, до Парижа прямым рейсом с женой. Может, и вы с нами, а, доктор?..

НАБЛЮДАЙТЕ ЗАТМЕНИЕ!

рассказ

Поздней осенью обезлюдел уличный двор, притих, затаился. Сквозь полукруглую кирпичную арку залетает невнятный шум городской улицы, мечутся, подпрыгивая на асфальте, жёсткие листья клёна, который по-осеннему сиротливо притулился к деревянному сараю. Трава налилась тусклой ржавчиной, и ветер, внезапно, по-ястребиному падая в провал между четырьмя тесно прижатыми друг к другу домами, загоняет в травяной сухостой обрывки газет, конфетные обёртки и другой мелкий мусор.

Исхлестанные дождями стены домов испещрены причудливыми разводами сырости, штукатурка кое-где пообвалилась, и видна красная кирпичная кладка старинной работы.

Все дома в округе снесены, остался только этот называемый старожилками по привычке к прежним названиям Соколиный порядок — полтора десятка трёхэтажных старинных строений. Когда-то здесь шла бойкая торговля птицей, но это было так давно, что об этом помнит лишь Алфей Казимирович Степковский, который уже около восьмидесяти лет по утрам глядит во двор из окна своей деревянной светёлки, что чудом прилепилась ко второму этажу самого большого во дворе дома.

В светёлке у Алфея Казимировича кухня. В шесть часов утра старые доски начинают скрипеть под ногами хозяина. Степковский ставит на электроплитку чайник, открывает форточку и смотрит на уличный термометр. Потом достаёт из ящика письменного стола общую тетрадь, проставляет день, месяц, час и записывает температуру воздуха. Таких тетрадей у него накопилось штук шесть. Все они от корки до корки исписаны каллиграфическим почерком и аккуратно обёрнуты в непромокаемую бумагу.

Пока Алфей Казимирович занят своим делом, хромой скворец Димка пьёт воду, охора-

шивается и начинает призывно стучать ключом в металлическую сетку. Старик берёт клетку и перевешивает её ближе к окну, рядом с обеденным столом.

Тем временем поспевают чай, Димка и Алфей Казимирович завтракают, молча переглядываясь друг с другом. Насытившись, скворец пробует запеть, но, заметив осеннюю желтизну за окном, сконфуженно умолкает и прячет голову под крыло.

Вымыв посуду, Алфей Казимирович говорит Димке:

– Ну-с, а теперь, Димофей Скворцович, пора и на прогулку!..

Он натягивает узкоплечее длинное, почти до пола, осеннее пальто, нахлобучивает на голову шляпу со смятыми полями, берёт клетку и спускается во двор по деревянной винтовой лестнице.

Три раза в день выходят гулять Димка и Алфей Казимирович, если позволяет погода, и двор у них распределён на участки, куда по верх крыш доходят до земли солнечные лучи в разное время дня.

Утром они устраиваются на ящике и долго сидят, разнежась от свежего воздуха и подрёмывая. Алфеем Казимировичем овладевает приятное безмыслие, он ничего не замечает вокруг, голова склоняется на левое плечо, руки безвольно опускаются вдоль туловища.

Вскоре возле него раздаётся сиплое дыхание. Это сосед Степковского – пенсионер Лев Фёдорович Румянцев. Он опускается на принесённый им из квартиры раскладной стул и, отдышавшись, здороваются:

– С добрым утром вас, Алфей Казимирович!

– С добрым, с добрым... – бормочет Степковский. Как всегда, он слегка раздосадован неизбежным появлением соседа, но вида не подаёт.

Румянцев моложе Алфея Казимировича лет на двадцать, но старость как бы сравняла их годы, и они чувствуют себя ровней. Лев Фёдорович болен и безобразно толст. Особенно толсты его ноги, обутые в валенки с разрезанными голенищами, куда не умещаются разбухшие икры.

– Grimасы правосудия!.. – многозначительно произносит Румянцев.

– Опять? – вяло откликается Алфей Казимирович.

– Неизбежно, – подтверждает сосед. – Вчера на мой исходящий четыреста семьдесят шестой пришёл ответ из областной газеты. Некто щелкопёришка Е. Шпагин сообщает, что моя жалоба, дескать, лишена оснований. А вы говорите, что это не grimасы правосудия!..

Стул подо Львом Фёдоровичем пронзительно взвизгивает.

– Да... – неопределённо мямлит Степковский. Он в курсе всех перипетий сложного румянцевского дела, но не вмешивается даже советом. Всё это бесконечно далеко от него, непонятно, бессмысленно и хлопотно, он давно отгородился от окружающего мира стеной своих трудных повседневных размышлений.

Бывшего инженера-сантехника Румянцева занимает проблема непомерного расхода воды из-за неисправностей водоразборных колонок, кранов и унитазов. По вечерам, когда люди возвращаются с работы, он обходит квартиры, собирает сведения о поломках, делает промеры, хронометрирует процесс бесхозного водосброса. Из кармана его пальто постоянно высовывается газовый ключ. Там, где это возможно, он сам устраняет неисправности. Все собранные им сведения обобщаются. Днём Лев Фёдорович занят перепиской с различными инстанциями. Во всех ЖЭКах города этого закоренелого жалобщика люто ненавидят.

С годами круги его ежедневных поисков становятся всё уже, он отяжелел, и, хотя из его кармана по-прежнему торчит газовый ключ, он редко выходит со двора и собирает информацию об утечке воды у соседей и алкашах, которые с утра начинают гнездиться за дровяным сараем. Сведения эти по большей части лживы, но Лев Фёдорович упрямо строчит жалобы и требует проверки. Почтальон ежедневно приносит ему до десятка писем.

Румянцев достаёт из кармана пальто грязный скомканный платок, сморкается и, отдышавшись, возвращается к прерванному вчера разговору:

– Я допускаю, что всё может быть, но поче-

му эти пассажиры летающих тарелок не хотят с нами вступать в контакт?..

– Допустим, что им с нами разговаривать не о чем, – морщится Алфей Казимирович. Ни в какие тарелки он не верит, но ему хочется раздосадовать соседа.

– Как это не о чем!.. – возмущается Румянцев. – И мы не лаптем деланы, вон сколько всего насочиняли!

– Вы со своим Тузиком тоже говорите, а что толку?.. Он только глазами хлопает да хвостом крутит.

– То Тузик, а то... – Румянцев обиженно замолкает, безуспешно пытаясь вставить в свою крупную бритую голову представление о безмерной протяжённости материального мира.

Во двор, озираясь по сторонам, заходят два мужика. Потоптавшись под тяжёлой кирпичной аркой, они направляются к деревянному сараю. Слышно, как они шарят в спутанных зарослях сухой травы, отыскивая стакан.

Румянцев иронически смотрит на согнутые фигуры запыхавшихся мужиков и выжидательно молчит. Ещё вчера вечером он взял стакан с собой, заранее зная, что утром опять нагрянут вчерашние гости.

Наконец один из мужиков не выдерживает:

– Посудину дай, Лев Фёдорович!

– Поди да возьми. Кстати, и должок вернуть не забудь.

– Какой должок?.. – смущённо говорит испитой мужичонка по прозвищу Шнурок. – Дали-то всего на кружку пива. Отдам... Чё, не отдам?..

– Обещанного ждут, – медленно произносит Румянцев. – А третий где?..

Румянцевский юмор до мужиков не доходит.

– Стакан дам, – внушительно говорит Лев Фёдорович, – но нужно сбегать на Красноармейскую к колонке, узнать, как и что?.. Там, говорят, вторые сутки вода хлещет.

– Я мигом, – широко улыбается Шнурок, – только вмажем – и я мигом!..

Румянцев опускает руку в просторный карман и достаёт присыпанный хлебными крошками гранёный стаканчик. Шнурок осторожно берёт его левой рукой, а правой тянется к

клетке, стараясь ухватить грязными пальцами Димку за клюв. Скворец растопыривает крылья, отпрыгивает в угол клетки и с размаху бьёт клювом во все стороны.

– Щекотно, – умиляется Шнурок. – А я тебя, оглоеда, на жарёху, а я тебя – на жарёху...

Алфей Казимирович невозмутимо берёт клетку и переставляет её на другую сторону. Шнурка он будто не замечает, хотя смотрит на него тусклыми, подёрнутыми, как у птицы, белёсой плёнкой глазами. Этот странный взгляд смущает Шнурка, он отворачивается и шустро бежит к сараю.

– Ну, пора и честь знать... – говорит Алфей Казимирович, медленно встаёт с ящика, берёт клетку и шаркающей походкой направляется к лестнице. От свежего воздуха у него немного кружится голова, щёки слегка порозовели, но он доволен удачно начавшимся утром и хорошей погодой.

В квартире Степковского, не считая прилепившейся к стене ласточкиным гнездом кухни, есть небольшая гостиная, которая служит Алфею Казимировичу кабинетом, и крохотная спальня, куда с трудом уместились железная кровать и тумбочка старинной ручной работы. Нет ни телевизора, ни радиоприёмника, все стены заставлены шкафами с книгами. Каждые пятнадцать минут бьют часы, тоже старинные, в футляре из красного дерева, украшенном умной и загадочной мордой какого-то диковинного зверя.

Одиночество Алфея Казимировича и полубеспомощная старческая жизнь не наложили видимого отпечатка на его жилище. Комнаты всегда чисто прибраны, полы вымыты, окна протёрты – это заботы дворничихи, которая всю чистоту справляет за небольшую плату. Она же делает для Степковского мелкие постирушки, в этом для неё хлопот совсем немного, потому что Алфей Казимирович телосложение имеет сухое и никогда не потеет.

Всем ваннам и душевым Алфей Казимирович предпочитает баню, готовится к ней начинает ещё в пятницу, тщательно проглаживает постельное бельё, пришивает к кальсонам оторванные завязки и пуговицы. Моется он

долго и истово, подолгу, завёрнутый в простыню, лежит на клеёнчатой кушетке в предбаннике и дремлет. Румянцева возмущает то, сколько воды тратит Алфей Казимирович на своё небольшое, высушенное годами тело, сам он только парится и окатывает себя одной шайкой воды. На этой почве у них серьёзные расхождения. Поэтому один ходит мыться в субботу, другой – в пятницу.

Кроме бани и регулярного посещения магазина, у Алфея Казимировича почти нет других внедомашних дел. Всё время он проводит в кабинете, сидя на скрипучем кресле с прямой спинкой и жёсткими подлокотниками. На столе перед ним лежит раскрытая книга. Но читает Степковский всё реже и реже. Чаще всего он отрешённо смотрит в окно, половину которого занимает железная крыша соседнего дома, а в другой виднеется всегда без солнца северная часть неба.

Долго бодрствовать Алфей Казимирович уже не может, время от времени он неожиданно засыпает так глубоко и крепко, что его сон похож на внезапное беспамятство. Услышав храп хозяина, Димка начинает беспокойно возиться в клетке и стучать клювом по железу. Но сон продолжается недолго, Алфей Казимирович просыпается так же внезапно, как и засыпает. Во рту у него сухо, и Степковский не помнит, что было с ним.

Он стар. Так стар, что пережил всех родных. Никого у него нет, уйдёт Алфей Казимирович из жизни, и пресечётся его фамилия. Когда-то он думал, что это страшное несчастье – пережить жену, детей, всех родственников и жить в старости как на вокзале, дожидаясь поезда, который никак не приходит. Сейчас Алфей Казимирович ничего не думает, а терпеливо ждёт отправки. Суета, страдания и другие человеческие заботы отступились от него, разум его, готовясь к неизбежному, мало-помалу пустеет, выветривается всё временное, то, чем снабжала его жизнь, чтобы он мог держаться на её поверхности, а теперь всё это стало окончательно лишним и обременительным.

Алфея Казимировича не занимают больше размышления, которыми он достаточно насытил свой мозг в молодые и зрелые годы, он

теперь стал более чувствителен к теплу и холоду, к шуму и тишине, к пасмурным и солнечным дням, к ветру и безветрию. К людям он уже не тянется, ему достаточно одного Димки, который так же безгласен и терпелив, как хозяин.

– Что вы, Алфей Казимирович, сидите в своей скворечне целыми днями!.. – бурля энергией, восклицает иногда Румянцев. – Шли бы лекции читали, молодёжь просвещали. Или в газету писали. Беспорядков не оберёшься!.. Если бы я умел писать, как вы, я бы показал этим небо с овчинку. А вы напишете раз в два года заметку, мол, наблюдайте затмение, и опять молчите. А что затмение?.. Обычное дело. Там всё по закону. Тут беспорядки, тут! – стучал он палкой об асфальт.

Разные они люди, очень разные. Была бы возможность, разбежались бы в разные стороны, да бежать некуда. Помолчат, подуются друг на друга и опять сойдутся во дворе.

Не отвечает Степковский на упрёки соседа. Да и что отвечать? Разве можно жизнь свою в словах обсказать, когда уже рукой подать до её окончания?..

Все свои годы Алфей Казимирович проработал в институте, где начинал читать курс лекций по астрономии. Начинал он молодо и резво, замахивался даже на диссертацию, однако ничего из этого не вышло. Слишком уж широко мыслил, а время было непростое. Где уж не поскользнуться, если тема его исследования касалась астрологии как одной из форм осмысления космоса. Конечно, он раздраконил астрологов за их явные заблуждения, но на беду свою слишком уж много места уделил изложению их взглядов. В монографии присутствовала и оправдательная для средневековых мракобесов мысль, что их ошибки были неизбежны в силу определённых исторических условий и неистовой религиозности. Мысль, что у каждого времени есть свои ошибки, Степковскому не простили. Он был заклеимён, понижен в должности, ему с сомнением доверили место смотрителя университетской обсерватории. Эту должность он занимал более сорока лет, доволь-

ствуюсь беспрепятственной возможностью смотреть на небо сколько захочет. Это его вполне устраивало.

Привычка думать об огромных расстояниях, невероятных массах космических тел и грандиозных катаклизмах, которые во Вселенной случаются очень часто, имела то важное для Степковского следствие, что он на свою неудачу особого внимания не обратил. Ему вполне достаточно было видеть звёзды, чтобы чувствовать себя счастливым. Глядя в необъятное небо, населённое бесконечным множеством миров, Алфей Казимирович понимал ничтожную малость даже самого великого человеческого тщеславия перед вечным и стройным течением миропорядка. Он не мог представить себе ничего разумнее и законнее, чем Вселенная, в которой Земля — всего лишь далёкая провинция.

Не в силах постигнуть первопричину самодвижения Вселенной, Степковский оставил за собой счастливое право восхищаться красотой и обдуманной устроенностью мироздания. В переполнявшей его радости, несомненно, было что-то языческое, завещанное пращурами чувство безмерного удивления, восторга и страха, которое согревало и освещало душу безвестного городского звездочёта на протяжении всей жизни.

Впрочем, фамилию Алфея Казимировича можно было встретить на последней странице областной газеты. Затмения, о которых он извещал горожан, относились к разряду самых незначительных новостей, обычно заметки набирались мелким шрифтом и загонялись куда-нибудь в угол. Заголовок всегда был один и тот же: «Наблюдайте затмение». После него не полагалось даже точки, хотя Алфей Казимирович в рукописи всегда ставил восклицательный знак и постоянно спорил об этом с заведомо новостей.

— ...Наблюдайте затмение! — говорил Степковский газетчику. — Наблюдайте!.. С восклицательным знаком!

— Выпал при наборе, — отвечал, потешаясь над нелепым звездочётом, заведомо. — Я точно помню, что ставил.

— Эх, молодой человек, молодой человек!.. —

укоризненно говорил Алфей Казимирович. — Разве так можно?..

Молодой человек с годами постарел, облысел и обрюзг от сидячей работы, но восклицательных знаков не ставил и затмениями не интересовался.

Сейчас Степковский лишь изредка пишет заметки в газету и не ведёт дневника, который в порыве юношеской запальчивости велеречиво озаглавил как «Хронограф сомнений, размышлений и открытий моей жизни».

Эта толстенная, страниц в пятьсот, канцелярская книга, каких уже сейчас не делают, заполнена почти полностью каллиграфическим почерком с витиеватым наклоном букв в левую сторону. В последнее время Алфей Казимирович читает только её.

Большая часть дневника занята размышлениями о добре и зле, которые одолевали его в молодые годы. Они были высокопарны, многословны и, как со временем оказалось, пусты.

Давно уже своих прежних восторженных чувств Алфей Казимирович не помнит, они попросту отмерли со временем, как отмирают у старого дерева когда-то плодоносящие ветви. С прошлым Степковский связан не чувствами, не сопереживанием, не сожалением об упущенных возможностях — нет! Его память похожа на систему координат прожитого им времени, где запечатлены не чувства, а положения когда-то теснейшим образом связанных с ним людей. Люди приходили и уходили, он любил их, они любили его, потом наступал момент, и люди исчезали бесследно, а Степковский продолжал жить. И если посмотреть на линию его судьбы, то снизу она густо разрасталась ответвлениями, потом их становилось всё меньше, и наконец была видна только одна истончившаяся линия его жизни.

...От страницы к странице строптивные мысли Алфея Казимировича шли на убыль. Этому способствовала его женитьба на хорошенькой аптекарше, которая терпеливо ходила на вечера в городской парк, где перед войной Степковский читал просветительские лекции по воскресеньям, когда зажигались звёзды. В те времена образованная публика

поголовно увлекалась вопросом: есть ли жизнь на Марсе? Поэтому Алфей Казимирович невольно оказывался в центре внимания и был модным мужчиной, хотя ему уже стукнуло сорок лет и на макушке обозначилась лысина. Он носил парусиновый костюм и парусиновые туфли, которые старательно начищал зубным порошком. Круглые очки и борода с усиками делали паркового астронома довольно импозантным.

Аптекарьша Дуся чаще других заговаривала со Степковским на марсианские темы, и по-немногу их разговоры приобрели земное направление. Втянутый в поле Дусиного притяжения, Алфей Казимирович неизбежным образом женился.

Дуся оказалась очень земной женщиной, всяких философских завихрений в её отягощённой двумя тяжелейшими косами головке не существовало, но она была очень тепла, уютна, домовита, как, пожалуй, любая неиспорченная русская женщина. Вскоре у них появилась маленькая Клава.

...Неожиданно молодо и звонко бьют полдень старинные часы. Степковский медленно поднимается с кресла, подходит к ним, открывает тугую дверцу деревянного футляра и ключом заводит часовую пружину.

Сегодня Алфею Казимировичу предстоит совершить ещё одно немаловажное дело: написать заметку в газету. Он берёт с массивного мраморного прибора ручку и по привычке ощупывает перо указательным пальцем. Вещи служат Степковскому долго, и это стальное перо ещё остро и упруго.

На составление заметки уходит около часа. Степковский несколько раз перечитывает её и кладёт в потёртую кожаную папку.

Заметив, что хозяин закончил работу, Димка оживает и стучит клювом. Алфей Казимирович приносит ему свежей воды, потом идёт на кухню и начинает варить кашу.

После обеда во дворе уже почти шумно. Появились две детские коляски, девчонки, придя из школы, пользуются сухой погодой и чертят мелом классы на асфальте, пацаны в дальнем углу пинают обшарпанный волейбольный мяч, а в сухом бурьяне за сараем гудят пьяни-

цы. Всё это каким-то привычным образом уживается друг с другом, воспитывает в людях терпение и выносливость к существованию в битком набитом доме.

Когда Алфей Казимирович появляется во дворе, держа под мышкой кожаную папку, к нему, пыхтя и сморкаясь, устремляется Румянцев. Он угадал, куда идёт Степковский, и с ходу берёт быка за рога.

— Беспременно уважьте, Алфей Казимирович! Беспременно! Я одну минутку.

Уважить соседа Степковскому никак не хочется, но он, поморщившись, останавливается и терпеливо ждёт, пока Лев Фёдорович вернётся с пачкой писем.

— Вот! — горячо размахивает Румянцев письмами. — Полюбуйтесь на беспорядки! Вы думаете, это хаханьки? Нет! Они ошибаются. Здесь сто восемьдесят семь кубометров воды в сутки. Питьевой, заметьте, а не технической. Ну, я их припеку, припечатаю на все четыре лопатки!..

— А вам хоть раз удавалось заткнуть один кран? — вдруг спрашивает Степковский.

— Это в каком смысле?

— В таком, что вода, известно, вещество текучее. Вы её в одном месте затыкаете, а она в другом вдвое сильнее хлещет. Все-то дырки разом не заткнёшь.

— Вы это бросьте! — начинает кипятичься Румянцев. — Умный человек, а чёрт знает что говорите! Этак, знаете, до чего можно договориться.

— Давайте ваши кубометры, — примирительно говорит Степковский и усмехается.

Улица встречает его пронзительным сквозняком, шумом машин и толчеей народа. Алфей Казимирович поглубже втягивает голову в плечи, пересекает улицу и выходит на бульвар, тоже продуваемый ветром, но почти безлюдный. По краям бульвар обрамлён чугунной оградой, и вообще он очень старый, даже Степковский не помнит, когда его закладывали.

Деревья на бульваре уже несколько раз обновляли, но сохранилось ещё несколько очень старых лип, и возле них в былые годы часто сиживал Алфей Казимирович, когда были живы Клабочка и Дуся. И сегодня он не проходит мимо привычной скамейки, садится

на её жёсткий ребристый край, папку кладёт на худые острые колени и смотрит на землю, усеянную тусклыми осенними листьями.

Смерть дочери и жены потрясла Алфея Казимировича своей очевидной нелепостью и злонамеренностью обиденного случая. Это случилось не с тридцатью другими пассажирами рейсового автобуса, который перевернулся на плохой дороге, а именно с его Дусей и Клавой, а этого Степковский никак не мог понять. И Алфей Казимирович, похоронив жену и дочь, внутренне потух, омертвел, мысль его потеряла способность к самовозгоранию и самодвижению. Вернувшись с похорон, он спросил себя, что же ему остаётся делать, на что надеяться, во что верить, но не нашёл ответа.

Постепенно боль утраты размылась временем, и Степковский безропотно принял единственное, что ему осталось, — молчать и ждать, не спрашивая себя, почему ты молчишь и чего ждёшь.

В редакцию Алфей Казимирович заходить не стал. Он бросил письма в почтовый ящик и побрёл по набережной.

От реки пахнуло близкой зимой и неизбежностью большого холода. Вниз на юг, сверкая белизной, плыл теплоход. Порывом ветра до Алфея Казимировича донесло музыку. Это был вальс, удивительно нежный и грустный.

У Степковского защемило сердце. Он сел на холодную скамейку и посмотрел на робко вспыхнувшую в небе первую вечернюю звёздочку.

— Боже мой!.. — вслух подумал Алфей Казимирович. — Ведь это так просто, и никто не мог догадаться, что звёзды — это...

Договорить он не успел: ему не хватило одного слова.

ПОБЕГ

рассказ

Сергей Крылов брился в коридоре и в зеркале видел, как его тесть Петр Григорьевич в майке и полосатых пижамных штанах сидит за столом и читает газету, прихлебывая молоко из своей расписанной голубыми цветами чашки.

Тесть был солидный из себя мужчина шестидесяти лет с седой волосатой грудью, лысый и весил далеко за центнер. Попав в примачи, Сергей его стеснялся, потому что сам вырос без отца, в их доме мужчины почти не бывали, только женщины: материны сестры, племянницы, бабушки. Поэтому, разговаривая с Галиным отцом, ему всегда хотелось отвести в сторону взгляд, стусеваться... Тесть давил на него своим апломбом и живописной фактурой: буденовские усы, широкие кустистые брови, коричневые навывкате глаза с желтоватыми белками и низкий с булькающей хрипотцой голосище.

Бритва напевно жужжала возле уха, Сергей поглядывал на часы, прикидывая, идти ему пешком или добираться до работы на трамвае. Рядом с трельяжем стояла детская кроватка, и пятилетняя Зойка сладко спала, сжимая и разжимая во сне маленький розовый кулачок. Жена еще вчера замочила белье и сейчас занималась стиркой в пристрое к летней кухне, где была банька.

Тесть допил молоко, отложил газету и гулко кашлянул.

— Сергей! — басисто произнес он и опять кашлянул. — Мне нужно с тобой поговорить.

Это была новость. Обычно тесть с зятем не разговаривали, правда, тот сам иногда вклинивался в разговор, особенно возле телевизора, когда Петр Григорьевич с позиций здорового реализма начинал критиковать какой-нибудь либеральный перехлест в передаче. Разница в мнениях выяснялась сразу, и тесть умолкал, только сопел, прихватив зубами край жесткого уса. И вчера они, занимаясь

розами в огороде, не сказали друг другу и десяти слов.

Крылов плеснул на лицо полпригоршни «Шипра», расчесал волосы и, внутренне сжавшись, вошел в комнату тестя.

— Как бы это тебе понятнее объяснить, — пробасил тесть, слегка постукивая дужками очков по полированной столешнице. — Но мне хотелось узнать о том, как ты думаешь жить дальше?

Вопрос был столь общего плана, что Сергей не сразу понял его подноготной сути, но что-то в нем его задело, и он обиделся.

— А что, я плохо живу? Работаю, учусь.

— Живешь-то ты неплохо, кто спорит. Работаешь почти за так в своей макаронной шарашке. Учишься. За четыре года еле дотащился до третьего курса. Тоже не спорю. Но в чём твоя перспектива?

— Не всем же сразу все удается...

— Конечно, — согласился Петр Григорьевич. — Я вот всю жизнь ломал хребет, пока кое-чем обзавелся. И сейчас вот, хоть на пенсии, молодому не уступлю. И моя Мария Федоровна за прилавком стоит с утра до вечера. Любочка хоть и не работает сейчас, но у нее есть муж. Как тебе это нравится, не нравится, но ты в ответе за нее и Зоеньку.

Тесть пожевал мясистыми губами, водрузил на красный в оспинах нос очки и сказал как отрезал:

— Мы с Марией Федоровной решили, что питаться ты должен отдельно.

Сергей беспомощно огляделся по сторонам, но стены, увешанные коврами, молчали, лишь лениво и равнодушно стучали старинные настенные часы.

— Ну и ладно! — сказал он и выбежал из комнаты.

В баньке шумела стиральная машина. Сергей было кинулся туда, но остановился и сел на скамейку. Какие-то бессвязные обрывки мыслей крутились у него в голове, на глаза навертывались слезы обиды, он высморкался, пошарил в карманах и, не найдя платка, сорвал яблоневый лист и вытер им нос.

Успокоившись, он начал понимать, что рано или поздно это должно было случиться. При-

помнилось, с какой кислинкой его встретили впервые в этом доме, когда он пришел на Любин день рождения. Были только близкие знакомые. Какой-то Жорик. Да, Жорик — лысоватый, с брюшком. Люба как-то со смехом рассказала Сергею, что тот за ней приударяет. Старик, почти тридцать лет. «Лада», своя квартира. Он даже приревновал немного, но Люба повисла у него на шее. Чудачок, сказала она, на фиг мне этот кисель!

А старики вились вокруг Жорика. Петр Григорьевич даже свою коллекцию юбилейных рублей ему показал, а на Сергея — ноль внимания, хоть он с Любой уже всю крутил. Теща, правда, за ними зыркала, да прошляпила. Четвертый месяц беременности. Раскудахталась: аборт! аборт!.. Люба от беременности подурнела, но Сергей не бросил ее, хотя его мать тоже была против. Знаю я, говорит, эту семейку, еще тот змеюшник.

У матери негде жить, комнатка — скворечник в коммуналке. На свадьбу сбивали всей родней. Костюм купили и прочее. За столом гости жениха косились на золочёные фужеры, но Сергей ничего не замечал. Он себя чувствовал женихом и был им.

Жорик, правда, подгадил: прислал подарок — ожерелье из какого-то дорогого камня с пластинкой. Теща пластинку бухнула на радиолу и понеслось: «Дорогая Любочка...» и прочая мура. Полчаса трепался про дружбу. Гости сидят, глаза выпучили, кому пить, кому петь хочется, а этот барбос все в чувствах изъясняется. Выкинь, сказал он Любе, пластинку. Нет, не выкинула. Включит и хохочет. Самому смешно.

Конечно, его зарплата не деньги! А где взять больше. Весной Сергей пошел в отпуск — и на шашку. Неплохо заработал, всего неделю назад отдал жене. Той шуба нужна, сапоги. Сейчас в кармане только рубль. Крепко тесть крутанул: Люба, мол, от тебя отдельно будет жрать.

Внутренне Крылов хорохорился, сидя на скамейке, но где-то внутри понимал, что вся его прошлая жизнь сорвалась с того крюка, на котором висела, и теперь летит, а он не в силах ее удержать и лишь только видит, как она летит и летит в темноту неизвестности.

Люба вышла из баньки, покрасневшая от работы и горячей воды, и шлепнула охапку мокрого белья в цинковую ванну.

— Ты что это не ушел? — удивленно спросила она и обняла Сергея за шею.

Он резким движением высвободился и встал.

— Уволил меня сегодня Петр Григорьевич.

— Как уволил? — рассмеялась Люба. — Откуда?

Сергей взял ее белые распаренные ладони, поднес к своим щекам. Жена перестала смеяться, и в ее темных глазах появился испуг.

— Ну, что ты молчишь?

— У нас сколько сейчас денег? — спросил Сергей.

— Нисколько. Я все в Москву отослала на покупки.

— Так...

— Что так?

— А то, что твой отец сказал мне питаться отдельно. А ты будешь вместе с ними.

— Фу, чепуха какая! — рассмеялась Люба. — Мало ли что он говорит.

— Нет, это не чепуха! Меня упрекают куском хлеба. Я этого не прошу, — он задохнулся, — ни за что не прошу!

— А, ерунда, — Люба повернулась и включила громче висевший на стене летней кухни репродуктор.

Сергей шагнул к приемнику и убавил громкость.

— Что ты мне не даешь музыку слушать! — обиделась Люба. — Это же Кобзон!

— Какой Кобзон! — воскликнул Крылов. — Тут меня мордой по асфальту тянут, а тебе — Кобзон!..

— А я весь дом обрабатываю! И Зойка, и кухня, и стирка!

Сергей шархнул от жены в сторону. Он неприятно удивился каким-то новым неизвестным ему интонациям, прорезавшимся в её голосе, увидел не замеченную раньше неприятную складку возле рта, и особенно его поразили взбухшие на ее щеке синеватые с узлами жилы.

«Бог мой! — подумал он. — Вот оно, настоящее лицо!»

Он резко повернулся и пошел на работу, бормоча под нос проклятия всему на свете и в

первую очередь самому себе. Он вдруг понял, что прежней жизни у него больше не будет, хотя где-то в глубине души теплилась мысль, что все еще обойдется, уладится, устоится. Но проходила минута, другая, и обида всплывала на поверхность, начинала жечь душу, а память услужливо возвращала происшедшее, и Сергей закипал злостью. Больше всего ранило то, что Люба не придавала утреннему происшествию никакого значения, для нее это было чепухой, но это была не чепуха. И Сергей где-то краем воспаленного сознания начинал догадываться, что жена способна отвернуться от него, если с ним что-то случится серьезное.

Почему они поженились? Было ли что между ними большее, чем стремление избавиться от надоевших подъездов, дворовых беседок и прочих неблагоустроенных интимных мест?.. Сергей над этим не задумывался, и Люба, наверное, тоже. Просто сошлись, схлестнулись, и закружило их, и понесло по течению жизни, как несет щепку в половодье, пока не кончится напор талой воды и они не застрянут на какой-нибудь мели. Скука!..

На шабашке и то веселее было. Ему ее устроил дальний родственник, бригадир сельхозкооператива. Договор — в карман, лопату — в руки. И давай! Никаких проблем. Работал на пару с одним беспаспортным бродягой. Сергей сначала сторонился его, но потом они сошлись и подолгу разговаривали, лежа на теплой весенней траве.

Звали напарника Борис. На его лице лежала печать глубокомыслия, свойственного закоренелым идейным пьяницам. Но Борис почти не пил вина, много читал и ходил в баню. Все его имущество умещалось в туристском рюкзаке, и в основном это были книги.

О себе Борис почти ничего не говорил, просто как-то назвал себя перекасти-полем. Его интересовали только общие вопросы от первого взрыва материи до приручения сусликов. В его голове постоянно рождались фантастические гипотезы, которые он излагал Сергею во время перекуров.

— Вот смотри, — говорил он, лежа на молодой полыни и мусоля папироску. — Собака, напри-

мер... Всё у нее на месте: и уши, и глаза, и нюх. А статья! Ведь красива! Или кошка. Это же совершенство. Все в природе имеет целесообразную красоту. Но ведь не сразу все это получилось. Был я в музее, где все ископаемые черепа и другие кости собраны. Это же ужас какой-то! Ад!.. Да, ад! А ведь не зря они вымерли. Просто они были пробными экземплярами, природа их отвергла. Они опилки и стружки от сегодняшней красоты мира. Черновики, так сказать, и больше ничего. Природа шла к совершенству через все эти свои ошибки, училась на них, пока из ученика не стала мастером.

Они лежали на вершине сухого обдуваемого со всех сторон ветрами бугра. Почва была скупая, песчаная и глинистая, и трава росла на ней кустами, сухая даже в пору своей весенней молодости. Худые воинственные пауки выползали из трещин земли, и когда землекопы переставали стучать лопатами, из своих нор вылазили вальяжные сурки и вставали столбиками возле куч серой, как порох, земли.

— Удивляюсь я ученым, — продолжал Борис. — Нацелились в атом, и выколупывают оттуда по частице. Это же тупик. Ну, еще частица... ну, еще какой-нибудь эффектик. А дальше что? Тайна всего — последняя, самая крайняя тайна! — прячется в языке. Почему лопата есть лопата, а не что-нибудь другое. Нужно разгадать смысл изначальных коренных слов, тогда откроется все само собой. Энергия мира заключается в слове. Если мы это откроем, то запросто будем летать на любые планеты. Сказки ведь не врут, а там, заметь, все словом решалось...

Сергей слушал его плохо, с едва скрываемой насмешкой. У него на уме было одно: побыстрее закончить работу и вернуться домой, — поэтому торопил Бориса, и тот, пожимая плечами, лез в яму.

Сейчас Сергей завидовал своему бывшему напарнику. Ни забот у него, ни семьи, живет себе один на один со своим свихнутым разумом без всяких собраний и взносов. Никому не должен, кроме мирового разума, который намеревается постичь.

Было девять часов утра, обе сушильные ли-

нии макаронного цеха работали, забивщик ящиков с готовой продукцией Агеев начал стучать молотком, а отпуск изделий — главная и занудная часть работы сменного мастера — еще не начался. Машины из магазинов не подошли, с контейнерной позвонили, что начнут подачу своих железных ящиков не раньше обеда.

«Пьянчужки чертовы!» — не огорчился Сергей и вышел на улицу. На контейнерной привыкли к спиртованному яблочному соку, которого было на пищекомбинате хоть залейся. Обеспечивал их пьяным пойлом начальник цеха Тюгаев, но он, видимо, завяз в конторе с техотчетом. И, пройдясь по двору, Сергей сел в тень на деревянный ящик и стал смотреть, как цеховая кошка Муська ловит в густой траве мышей.

Муська была грязной, худой, высосанной котятками, но это была великая охотница! Таких Сергею еще не доводилось видеть. Однажды на его глазах сшибла идущую через дорогу от цеха к складу крысу и разорвала ее в лохмоты мощным ударом окогтенных задних лап. Муську брали рабочие домой, когда нужно было избавиться от крыс, запирали в погреб или сарай, и она за ночь очищала помещение от нежелательных дармоедов.

Кошка прыгнула, но промахнулась, бросилась в сторону, упала на спину, и на приподнятой над травой лапе, подцепленная коготком, затрепыхалась серая мышка. Муська вышла из травы на асфальтированную площадку перед цехом и мяукнула. Из-под ящиков пестрыми клубками к ней выкатились котята. Она положила полузадушенную мышь на асфальт, и котята начали с ней играть. Тормошили ее лапами, подбрасывали вверх, а Муська смотрела на них и облизывалась. Иногда мышь пыталась убежать, но она точным ударом лапы опять подбрасывала ее к котяткам.

Сергей весь день с удовольствием просидел бы, наблюдая за кошачьими забавами; работа ему не нравилась, он пошел в макаронный цех по настоянию тестя, который считал, что у его дочери муж должен занимать интеллигентную должность.

Самым неприятным в его работе была материальная ответственность. Подписывая дого-

вор при поступлении на работу, он не понимал, на что себя обрекает. И теперь Крылов приходилось считать. Считать ящики, принимаемая и сдавая смену, считать мешки с мукой, яйца, считать, отпуская готовую продукцию... От цифр ему порой делалось дурно, но он терпел, поскольку другой работы не предвиделось. И надо было держаться за эту, чтобы не вступать в конфликт с тестем, который сумел сразу подмять зятя под себя и постоянно вмешивался в его отношения с Любой.

От того запала, с каким Крылов начинал семейную жизнь, за семь лет не осталось даже следа. Свою квартиру так и не получил, и приходилось жить примаком. Поэтому Крылов рано уходил на работу и поздно возвращался, объясняя это различными собраниями и авариями.

Думая о своем, Крылов не упускал из виду кошачью игру с мышью. Котят порядочно намяли ей бока, но мышь была еще жива и, собрав последние силы, юркнула под пустые ящики, стоявшие у стены цеха.

Муська миг осатанела, кинулась следом за мышью, ударилась с разбега об ящик, повалила их на асфальт, но добыча ушла от ее когтей, как она ни бесновалась.

На шум упавших ящиков из цеха вышел Агеев, одноглазый изможденный мужик, с молотком в руках, и удивленно посмотрел на поваленные ящики.

— Ветра вроде нет, а, Иваныч? Как они упали? — спросил он, доставая сигарету.

Крылов объяснил.

— Муська и не такое может, — сказал Агеев, присаживаясь на ящик. Только бы в лаборатории ее не испортили. — Понимаешь, навядились на ней качество колбасы проверять. Да и я так завлабом смог бы работать, а не уродовался бы с ящиками.

Крылов рассмеялся. Агеев работал в цехе за растрату, которую сделал еще до прихода Сергея в цех. Мутное было дело, по словам Агеева выходило, что он, взяв под отчет три тысячи рублей, где-то потерял их. Люди же намекали про другое. Заготовители были связаны с безалкогольным и винным цехами и стояли в конце цепочки по сбыту неучтенной продукции. Они вместо фруктов и ягод привозили из

командировок воздух в карманах, оформляли на складе сдачу сырья, и дальше по документам шла работа вплоть до выпуска продукции, которая делалась за счет нарушения технологии, а деньги делили на троих: заготовитель, склад, начальник цеха.

Теоретически Крылов представлял себе эту механику, но был в стороне от всех этих дел. Да и были ли они?.. Правда, года четыре назад прежнее руководство горпищескомбината было арестовано и осуждено, и теперь ничего такого вроде бы не было, остался только разговор о том, как взорвалось что-то в котельной и, вылетев из трубы, на город стали падать деньги, но этот случай воспринимался сейчас не более как хохма, хотя все это было на самом деле, и Крылов это знал.

Он спрашивал Агеева кое о чем, но старый и битый заготовитель внезапно терял слух и становился таким косноязычным, что ничего понять было невозможно.

Закурив папиросу, Агеев начал привычно жаловаться на плохую зарплату и «алименты» — так называл он вычеты в счет растроченных денег. Действительно, заработки на комбинате были до смешного низкими, на них было просто невозможно прожить, но люди жили и не спешили увольняться.

В чем тут дело, Крылов понял через три месяца после поступления на работу. Работали в третью смену. В цеху было жарко, и Сергей вышел на улицу. Он стоял в тени и вдруг увидел, как через дорогу к котельной мелькнула чья-то тень. Заинтересовавшись, он пошел следом в котельную. В подсобке увидел Агеева и кочегара. Они оторопели, но, успокоившись, объяснили, что в котельную сносились продукты из всех цехов: винного, безалкогольного, колбасного, кондитерского, макаронного. Продуктов было как в столичном спецмагазине: вина, колбасы, масло, яйца, мука, словом, все, вплоть до соли и соды. Котельная была пунктом обмена, тайным базаром.

Крылов сказал об этом начальнику цеха, но тот только рукой махнул. Сергей подсчитал, сколько выносятся. Получалось много, минимум на две зарплаты каждый выносил, а между тем недостачи ни в одном цехе не было.

— Об чем разговор, Иваныч! — воскликнул Агеев, когда Сергей стал ему выговаривать за утащенный в котельную ящик с рожками. — Двадцать килограмм — да это тьфу! Я тебе на каждом ящике два килограмма верну!

— Слушай, — сказал Сергей. — Ты, говорят, каждое воскресенье на базар ходишь?

Агеев заулыбался, притушил папироску и встал.

— Иваныч! Жить-то надо! Я же сызмала со скотиной. Я могу точно определить, сколько в ней веса, на глаз. Ну, а мне — сердце, легкие после забоя.

— Ишь, поет! — к ним подошел мастер из безалкогольного цеха Ложкин. — Ты, Сергей, его слушай! Это ж император живого ряда. Вот ты пойдешь продавать, допустим, хряка — и не продашь.

— Ну, вы наговорите! — Агеев был недоволен, что Ложкин услышал их с мастером разговор.

— Конечно, себе в убыток продашь, — продолжал Ложкин, — а за хорошую цену — нет!

— Я пошел, — заторопился Агеев, — там ящиков незабитых — море!

— Вот юла! — усмехнулся Ложкин. — Я наблюдал его на базаре, умора! Он сразу в пяти-шести местах торговался, сбивал цену. Если с каждой головы по червончику — полста, да еще и мясо.

— Да бог с ним! — сказал Сергей. — У меня скоро машины подвалют. А у тебя как?

— Грузят. Боя много. На мне уже висят пять тысяч бутылок, линия опять бьет на разливе.

Из-за угла на площадку выехал продуктовый фургон. Сергей, уныло вздохнув, развел руками.

— Не кисни, — сказал Ложкин. — Вечерком заглядывай, у меня коньячок появился для мокко.

Приехали из небольшого продмага и взяли всего понемногу. Несколько ящиков макарон, по десять ящиков рожек и вермишели, по пять — лапши и ракушек.

Завмаг сидел в конторке вместе с Сергеем, пил минеральную воду, отдувался и потел.

— Что, перебрал вчера?

— Было дело, — вздохнул завмаг. — Залетели с телевидения. Одна моя курица водку ко-

му-то продала. Те, ясное дело, на пленку, милиция — акт. Еле отбились.

— Весело живёте, — засмеялся Сергей. — У нас тишина, спиртным не торгуем, одна мука, да и то из твердой пшеницы, на блины не годится.

— Это сейчас, — возразил завмаг. — А я вот помню в начале шестидесятых что здесь было. Это когда первый раз хлеб в Америке закупили. В магазинах один черный хлеб. Вот тогда начальник макаронного цеха был фигурой.

Загрузили полную машину, а ящиков в цеху не убавилось. Из широкого проёма они все прибывали и прибывали на склад. Агеев взмок, забывая и забрасывая их друг на друга. В белых штанах он был похож на санитара, за чем-то взявшего в руки гвозди и молоток.

От работавших сушилок в цеху было жарко. Сергей взял с ленты рожок и прикусил его. Продукция шла влажной, не по стандарту.

Крылов прошел дальше, к прессу, из которого выдавливались рожки, и сказал бригадиру:

— Убавьте скорость ленты. Рожки сырые.

Бригадир Ольга Петровна возразила:

— Сушилка еще не нагрелась.

— И все-таки убавьте.

— Хорошо, убавлю. Сергей Иванович, а на яйца людей выделять?

Крылов совсем забыл, что нужно было разбить тысяч десять яиц и приготовить меланж для второй смены, которая будет делать яичную вермишель.

Вместе с Ольгой Петровной они пошли на склад сырья. Возле штабеля с мукой стояли деревянные ящики с яйцами.

— Выдели трех человек. И закройте за ними склад на контрольку.

— Хорошо, — сказала Ольга Петровна и внимательно посмотрела на Крылова.

Сергей не любил связываться с яйцами. Пока их били, нужно было ставить охранника, сначала он пытался следить сам, но убедился, что все равно яйца крадут бессовестным образом, и какие яйца! Известкового хранения, синие, с растекшимся желтком.

— Тем, кто будет бить по пятьдесят штук... — сказал Крылов, понимая, что упрут больше. — Я на вас надеюсь, Ольга Петровна.

— Все сделаю, Сергей Иванович, — пообеща-

ла бригадир, у которой насчет яиц имелся свой расклад. — Можете не волноваться. Все сделаю.

На складе готовой продукции уже скопились три машины. Крылов показал, откуда грузить, и зашел в конторку, чтобы оформить документы. Он взял накладные, вложил между ними копирку, сколол скрепкой и начал писать.

Зазвонил телефон. Сергей взял трубку и, еще не услышав первого слова, по дыханию понял, что звонит Люба.

— Сергей, это я!

— Слышу.

— Ну, как дела? Чем занимаешься? — голос Любы звучал с кокетливыми интонациями, от которых когда-то у Сергея замирало сердце, а сейчас они казались наигранными и вымученными.

— Рожки делаю. Из муки первого сорта. Тридцать шесть копеек килограмм!

— Ты что это, Сережа, так сухо с любимой женщиной разговариваешь?

— Да нет, просто некогда. Три машины грузят.

— Слушай, у тебя зарплата скоро?

— А что?

— Да, понимаешь, мне сапоги предлагают. У меня ведь зимние потрескались, и замок сломался. К папе обращаться неудобно. Ладно, тогда я в кассе возьму, а потом отдам.

Люба повесила трубку. Сергей поморщился, вечные проблемы, проклятые вопросы. Сапоги. Он понимал, что сапоги нужны, но на них уйдет его месячная зарплата, все сто пятьдесят рублей. Опять перед тестем гнуться. У того персональная пенсия, да еще работает. В загранке был, шмоток оттуда навез. А тут макароны. Тесть их не ест, на овощи напирает из своего огорода, чтобы без нитратов. Хочет до ста лет дожить.

В конторку зашел экспедитор. Сергей знал его, из дальнего района, сельпо.

Экспедитор, побряхтывая, сел на стул, положил на стол руки с толстыми обломанными ногтями.

— Ну как, Сергей Иванович, жизнь?

— Ничего, а у тебя как?

— Нормально. У нас все хорошо. Вот картошки нет. У нас же, сам знаешь, болота. Тут

мне старушки заказик сделали. Может, подбросишь пяток ящиков рожек?

Крылов поморщился. Иногда к нему обращались с такими предложениями, и они ему не нравились. Дело-то копеечное, а узнают — сраму не оберешься.

— Возьми ящик, — сказал он. — Отвези старухам от меня в подарок.

— Зачем бесплатно, — удивился экспедитор. — Пять ящиков. Тебе четвертной, и мне четвертной.

— Ну ладно! — махнул рукой Сергей. — Пошутили, и хватит.

И он протянул экспедитору накладную.

Тот пожал плечами, взял документы и вышел.

«Комбинатор! — подумал Крылов. — А что? Вот так каждый день по четвертной домой в клюве приносит. Поймают, так сумма неподсудная. Подумаешь, двадцать пять рублей».

Тюгаев пришел к обеду, злой, распаренный июльской жарой. Сел за свой стол и начал считать на счетах. Костяшки только потрескивали, летая туда-сюда на отполированных стальных спицах.

Начальник цеха через полгода собирался уходить на пенсию и уже намекал Крылову, что хочет рекомендовать его на свою должность. Должность начальника цеха ценилась на пятьдесят рублей больше, чем мастера, не было и материальной ответственности, поэтому над этой перспективой был смысл подумать.

Чтобы не мешать начальнику, Крылов вышел из конторки в цех. На расфасовочном участке работала только одна Роза, остальные женщины ушли бить яйца. Вокруг нее на столе лежали коробки. Совком Роза насыпала в коробку из ящика желтую вермишель, ставила на весы и аккуратно заклеивала.

Сергей поздоровался и подошел к окну. С Розой он не разговаривал уже неделю. Они работали в третью смену. Уже близко к рассвету, часа в три утра, внезапно отключили электричество. Женщины сразу легли спать на бумажные мешки, которые постлали на теплый пол возле сушилок, а Сергей вышел на улицу и увидел на ящике возле стены Розу.

— Что не спишь?

– Не хочется.

Крылов присел с ней рядом. От мокрой росной травы тянуло предутренней прохладой, и от этого теплота, исходившая от тела молодой женщины, была еще заманчивей. У Сергея загло под ложечкой, он судорожно сглотнул и крепко поцеловал Розу в губы. Роза молчала, не сопротивлялась, только тяжело и жарко дышала.

Чем бы все это кончилось, неизвестно, но включили свет, и они отшатнулись друг от друга. После этого Сергей несколько дней избегал Розу. Она тоже не попадалась ему на глаза.

Крылов отвернулся от окна, подошел к Розе со спины и обнял ее за плечи. Она молчала, закусив нижнюю губу. Он приподнял ее со стула и повернул лицом к себе.

– Не надо, – прошептала Роза, – зайти могут.

– Нам надо встретиться в другом месте, – сказал Крылов, прижимая ее к себе.

– У тебя же жена.

«Боже мой! – недовольно подумал он. – Обязательно нужно говорить об этом. Как серпом под коленки».

– Ты мне нравишься, Роза.

– Зря все это.

Роза резким движением высвободилась из его рук. И вовремя. Агеев уже кричал:

– Иваныч! Машина загружена, ящики пересчитывать будешь?

– Буду! – со злостью заорал Крылов и, хлопнув дверью, пошел на улицу.

Агеев кричал не зря. Грузились из железнодорожного ОРСа. Грузчики – отпетая команда, все в наколках, вечно пьяные, всегда норвили украсть ящик-другой продукции.

– А, начальник! – ухмыльнулся грузчик с наколкой на руках. – Подсадить? Или сам на машину заскочишь?

Сергей посмотрел на пьяных грузчиков, нашел глазами экспедитора и тихо сквозь зубы сказал:

– Еще раз привезешь эту пьянь – всех сдам в вырезатель.

– Ну вот, деловой! Да мы так, нормально, – зашумели грузчики, уходя за машину.

Крылов легко перемахнул через борт грузовика, сел на теплую кабину и пересчитал ящики.

– Ну как? – спросил экспедитор.

– Нормально, можете ехать.

Тюгаева в конторе не было, но на столе лежали бумаги, и Сергей понял, что он скоро вернется.

«Забыл ему про контейнеры сказать, – подумал Крылов. – Что это начальник в последнее время дерганым стал? На пенсию его, что ли, гонят?»

Конечно, двести рублей, прогрессивка, это неплохо. Но квартиры все равно не видать ему как своих ушей. Это Сергей понимал. На комбинате квартир не давали, уж больно фирма невидная. И деньги не спасут, хотя какие это деньги? В последнее время и теща подключилась, все рассказывает про своего племянника, который летает работать на сервер. Тогда институт надо бросать, а учиться осталось два года. Люба, правда, о деньгах не говорила, но она их спрашивала. Вот как сегодня. И так каждый день. Кап! Кап! Подпирает под крышку. Временами злость такая, что зашкаливает.

Но Крылов держался. Он был из породы тех людей, которых столкнуть с места, предпринять что-нибудь решительное могут только крайние обстоятельства, но до этого дело пока не доходило.

Он позвонил Любе.

– Купила! – радостно сказала жена. – Голубые с серебристым отливом, в тон песцу на зимнем пальто.

– А сколько заняла?

– Сто рублей. Ничего, Сережа, выкрутимся.

Он положил трубку, достал из стола бутылку газированной воды, налил в стакан. Газировка была теплой, отдавала прокисшим апельсином.

Тюгаев пришел с двумя большими свертками, положил их на стол и спросил:

– Ты обедал?

– Нет, – ответил Сергей. – Из контейнерной звонили, сказали, что с контейнерами задержка.

– Ну их, – махнул рукой Тюгаев. – Пусть хоть день сухими походят. Не до них сейчас. Закрой-ка дверь.

В свертках были колбаса, шоколад, бутылка коньяка.

– Давай обедать, – сказал Тюгаев. – Я сегодня ушел из дому и не позавтракал. Пока доку-

менты сверял в бухгалтерии, не до этого было.

— А что случилось, Петр Павлович? — спросил Сергей, нарезаая колбасу и хлеб.

Начальник помолчал, потер тыльной стороной ладони жесткую щетину на подбородке.

— Ну, об этом потом. Давай по лампадочке. Ну, за успех нашего безнадежного дела.

Сергей выпил свою рюмку, взял кусочек колбасы. Она была еще горячеей, не остывшей, прямо из печи, и необыкновенно вкусной.

— Случилось то, дорогой Сережа, что не пить я с тобой должен на брудершафт, а втык тебе сделать, да не простой, а с фигурным винтом.

Крылов удивленно пожал плечами. Он не чувствовал за собой никакой вины и вопросительно посмотрел на начальника.

— Вот вы тут, мастера, частенько думаете, — сказал Тюгаев, наполняя рюмки коньяком, — зачем вам начальник цеха? Кто знает, может быть, и я на вашем месте так же думал. Но вы на своем месте, а я на своем. И запомни, если сядешь на это место, то главное — держать ситуацию под контролем. Это в магазине там усушка, утряска, всё это крохи, а тут — производство.

— Так за что все-таки втык? — перебил начальника Крылов.

— Погоди, успеешь, — махнул рукой Тюгаев и ослабил на старческой дряблой шее черный галстук. — В магазине привез на продажу, например, центнер лапши. Он был центнером и останется им. У нас же ситуация другая. Из центнера муки можно сделать — как положено по технологии продукции, можно — полтора центнера, а можно так высушить, что и полста килограммов не выйдет. Ситуация скачет, а за ней могу уследить только я!

— Я знаю об этом, — сказал Сергей.

— Ничего ты не знаешь! — посуровел Тюгаев. — У тебя две с половиной тонны с плюсом идет.

— Как с плюсом! — поразился Крылов. — Я неделю назад все считал, было двести килограммов всего с плюсом. Вот сейчас, к концу недели, хотел подбить бабки для техотчета.

— Какие бабки! — усмехнулся начальник цеха. — До конца месяца осталось три дня. Конечно, плюс перейдет на тот месяц, но скажи, как мы его будем показывать в техотчете?

Сергею все стало ясно. Значит, всю неделю ночью гнали сырые рожки, оттого и плюс, то есть производство лишней продукции.

— Ну что, на помойку будем выкидывать? — спросил Тюгаев. — Муку или рожки? Я такой техотчет к главному технологу не понесу.

Сергей молчал. Он не ожидал, что получится такой прокол. Конечно, во всем винил себя. Надо было почаще бывать в цехе, но он писал по ночам контрольные и редко выходил к сушилкам, а сонные работницы гнали сырую продукцию.

— Что же теперь делать? — растерянно спросил Крылов. — Главный технолог знает?

— А зачем ему знать? — отмахнулся Тюгаев. — Его дело документы подписать. Тут вся ответственность на тебе и на мне. Нам вдвоем и нужно выходить из положения. Не дай бог придут, остатки снимут. Надо сегодня же решать, что делать с плюсом.

— Хорошо! — сказал Сергей. — Заявление на увольнение я отдам вам сегодня.

— Смотри, какой ловкий, — усмехнулся Тюгаев. — Заявление. А кто с этим делом расхлебываться будет? Пушкин? Давай еще по одной!

Сергей взял рюмку, не замечая вкуса коньяка, опорожнил ее. Тюгаев заткнул бутылку пробкой и сунул в стол.

— Откинь крючок. И чай поставь, — сказал он, неторопливо жуя колбасу вставными челюстями. Его прошиб пот и под мышками светлого костюма проступили темные пятна.

— Мне что? — продолжал Петр Павлович. — Ну, впаяют строгача по партийной, на пенсию вытолкнут, а тебе?

— Что, я работы не найду? — загорячился Сергей. — Была бы шея.

Тюгаев внимательно посмотрел на него и вздохнул. Не торопясь вынул из бокового кармана пиджака платок, вытер лицо, промокнул шею и протер очки.

— Ничего ты не понимаешь в колбасных обрезах! Наша жизнь устроена так, что никуда уйти нельзя, кроме как туда. — Петр Павлович показал указательным пальцем в пол. — Достаточно появиться на человеке вот такую сенькому черному пятнышку — и ему хана! Куда бы ты не кинулся по шестой части ми-

ровой суши, везде всегда ты увидишь одно. А что? Что увидишь?

Крылов пожал плечами.

— Вот, не знаешь. Флаг увидишь! Флаг над сельским, городским или каким-то там еще советом. А где-то рядышком с этим флагом всегда есть райотдел, прокуратура, суд и тэдэ, и тэпэ... Ты говоришь, жизнь. А что такое жизнь? Хоронил я недавно одного родственника. Потом прошелся по кладбищу. Вообще, полезная прогулка. И что ты думаешь, понял? Смысл понял жизни. Умру я, поставят мне столбик со звездой, а на столбике напишут фамилию, имя, отчество, год рождения, год смерти, с точностью до суток. А где жизнь-то?.. Ведь худо-бедно я жизнь прожил. И на социализм работал, и на себя! Так где она — жизнь моя? Нету?

На плитке зафырчал вскипевший чайник. Крылов заварил чай покрепче, налил в чашки. Он был подавлен. Старик был прав, нечто подобное, о чем он говорил, Сергей всегда чувствовал подспудно, но облеченная в слова эта правда вызывала протест, и с ней ни за что не хотелось соглашаться.

— Наверное, нам надо было лучше учиться в школе, — сказал Сергей. — А мне вечерний институт еще тянуть да тянуть.

— Чушь собачья, — язвительно улыбнувшись, сказал Тюгаев, — сказки для детсада. Все мы — ущербные дети случайных обстоятельств. Мне вот, может, министром пищевой промышленности надо быть, а я всего лишь начальник мизерного цеха. И это при том, что у меня на биографии ни единой соринки или пылинки. Жизнь. Вот в чем заковырка. Она продавлиывает нас, как тесто сквозь матрицу: какое отверстие, такую и мы приобретаем форму. Сходи в цех, посмотри. Поставил слесарь матрицу на рожки — идут рожки, поставил на лапшу — идет лапша. А сделают тебя лапшинкой, ты уже никогда рожком, а тем более макарониной не станешь. Этот закон покрепче закона Ома, только в школе эту науку не проходят, а постигают на своих синяках и ссадинах.

— Ах, Петр Павлович! — вспыхнул Крылов и резко поднялся со стула. — Что сейчас говорить! Может, и правильно все говорите, но к чему это? Надо что-то делать с продукцией.

— Ну, это уж не твоя забота! — сказал Тюгаев, ставя на стол чашку. — Слава богу, есть еще я. Правда, задал ты задачку, но свет не без добрых людей. Иди, машина пришла.

Крылов пожал плечами, вышел из конторки, показал грузчикам штабель, откуда грузить вермишель, и направился в цех.

«Вляпался я в это тесто, — с ненавистью к самому себе подумал он, глядя на дребезжащую ленту, которая выползала из сушилки. — Нет бы на завод пойти, так соблазнился должностью мастера. Сейчас бы слесарил потихоньку, шабрил станину».

Последние слова начальника его обнадежили, но не слишком. Что за хорошие люди?.. За свою жизнь Крылов убедился, что хорошие люди если и существуют, то где-то далеко, в каком-нибудь четвертом измерении. Так называемые хорошие люди — это попросту осторожные люди, со всем всегда соглашающиеся, и доброта у них — своего рода способ существования. Этих добрых зачастую не поймешь, куда они гнут. Скорее всего, никуда, лишь бы проскочить поспокойнее через жизнь. Вот тестя он понимал. Тот прямо говорил, что смотрит на все скептически. «Я видел всё и знаю всё, как бог», — бывало, говорил тестя. И с точки зрения бога взял бы и превратил все в первобытную глину. Можно еще было жить до пятидесяти шестого года, а после все наперекосяк. В глину надо все превращать, чтоб опять все сначала: космический взрыв, разбег миров, мезозавры, рабство, феодализм, революции... Пусть будет все по-старому до пятидесяти шестого, а тут поправочку сделать, коррекцию со съездом и культом.

— Сергей Иванович! — вывела его из невеселых раздумий бригадир. — Сегодня в клубе репетиция. Вы будете?

На Первое мая Крылов участвовал в концерте художественной самодеятельности. Даже приз получил за исполнение песни.

— Не до песен, Ольга Петровна.

— Что так? Сам директор просил передать, что хочет услышать песню «Люблю я макароны».

— А я их не люблю, — скривился Крылов. — Вы не догадываетесь, какая это гадость.

Бригадир с изумлением посмотрела на Крылова. Подобные слова она слышала от своего

мастера впервые. Сергей понял, что сказал лишнего, и натянуто улыбнулся.

– Охрип я, Ольга Петровна. Воды холодной напился. Ну как там, яйца бьют?

– Два ящика осталось.

В складе готовой продукции Тюгаев отчитывал забивщика ящиков.

– Сколько раз я тебе говорил! Не бери сырых ящиков. Вот сниму премиальные, узнаешь!

– Из тарного цеха такие привезли, – оправдывался Агеев. – Сухих нет. А в бумажные мешки запретили.

– Иди сюда, Сергей Иванович! – подозвал начальник Крылова. – Там две машины стоят. Погрузи на каждую по сто ящиков.

Сергей показал экспедитору, с какого ряда начинать, отметил мелком крайний. Из-за ящиков вышла потревоженная грузчиками Муська с котятами. Кошка начала тереться об ноги, Сергей наклонился и погладил ее между ушей. Муська заурчала и лизнула руку.

– Иваныч! Ты бы мне яичек подбросил? – голос Агеева звучал искательно с сухим покашливанием.

– Иди к Ольге Петровне, – сказал Крылов.

Агеев бросил молоток и гвозди и резво двинулся в цех.

В конторке Тюгаев пил чай и разговаривал по телефону.

– Хорошо, Кузьма Герасимович! Как штык, Кузьма Герасимович!..

– Вот, – сказал он, бросив трубку. – Главный технолог. Об отчете тоскует. Как там грузят?

– Грузят. На какую организацию докладные оформлять?

Тюгаев внимательно посмотрел на Сергея.

– А ты что ж не спросил? На Залесное эрпэо. Они у нас, правда, редко бывают, я их начальника знаю. Хороший человек.

Сергей взял три накладные, переложил их копирками и начал заполнять. Когда он закончил писать, Тюгаев сказал:

– Ты, Сергей Иванович, будь другом, сходи в контору. Я там футляр от очков оставил. Кинулся искать, все перерыл. Позвонил главбуху, а он у него на столе...

– Вы тут посмотрите, – Сергей поднялся со стула. – Я еще в магазин за куревом зайду.

– Посмотрю, посмотрю... Узнай еще на

складе, есть ли лампочки, а то осталось две штуки.

Контора находилась за территорией комбината, Крылов прошел через распахнутые настезь ворота, которые висели на сломанных петлях, перешел тихую улочку и поднялся по скрипучим ступенькам крыльца в старое деревянное здание, которое директор комбината в своих выступлениях любил называть «главным штабом».

В полутемном коридоре «штаба» было пусто и прохладно. Крылов вошел в бухгалтерию и подошел к громадному столу, заваленному бумагами.

– За футляром? – спросил его главбух, румяный, несмотря на кабинетную работу, старичок, и подал потертый кожаный чехол. – Как с планом? Вытянете?

– Справимся. Исак Львович, электролампочки на складе есть?

– Вроде есть. А впрочем, справься в материальном столе.

Электролампочки на складе были. Крылов выписал сто штук, завизировал накладную и, купив по пути сигарет, пошел в цех.

Настроение у него было отвратительное. Время шло, а вопрос насчет «плюса» не решался. И Тюгаев молчал, но Сергей надеялся, что старик что-нибудь придумает.

Возле цеха стояло уже пять машин. Все они были из районов. Сергей расставил их так, чтобы грузчики не мешали друг другу, и, организовав погрузку, стал оформлять документы.

Тюгаев пришел к концу смены, веселый, раскрасневшийся, видимо, ходил в винный цех к своему дружку, тоже начальнику.

– Как поработали? – спросил он, садясь к столу и разворачивая газету с недоеденной колбасой.

– Тридцать восемь тонн отгрузили, – сказал Крылов. – Меланж для второй смены готов.

Тюгаев наполнил рюмки коньяком.

– Ну, за успех нашего безнадежного дела! День прошел, дела сделаны.

– Петр Павлович! А что делать с плюсом? – спросил Сергей.

Начальник выпил рюмку, смачно чмокнул мокрыми губами и закусил колбасой.

— С плюсом? — переспросил он, вытирая платком жирные руки. — А его уже нет, этого плюса. А если и есть, так небольшой, в пределах разумного.

— Как нету? — не понял Сергей. — Вы же сами говорили, что по цеху идет лишняя продукция.

— Так ты же сам ее отправил, — усмехнулся Тюгаев. — В Залесное. Она уж поди в километрах ста от города едет.

Крылов взял со стола пачку накладных, быстро перелистал. Документов на отправку продукции в Залесное не было.

— Где накладные, Петр Павлович? — спросил он, начиная догадываться, что начальник ведет какую-то игру.

— Накладные? А я не помню, куда их выбросил, — сказал Тюгаев и посерьезнел. — На кой они нам, те две тонны. Они бы нас утопили. Я вчера весь день звонил в Залесное, чтобы забрали, не на помойку же хлеб везти.

Он достал из бокового кармана пиджака кожаный бумажник и протянул Сергею деньги.

— Возьми. Это твоя половина. И впредь смотри, чтобы технология соблюдалась!

— Так как же так! — растерянно пробормотал Сергей. — Я же ничего не знал. Вы это сами...

— Сам, сам, — ворчливо сказал Тюгаев и сунул деньги в нагрудный карман рубахи Крылова. — Все сам. А у тебя что-то другое было на уме? Или ты хотел сам что-нибудь сделать?

— Да нет! — Сергей опустил на стул. — Просто все так неожиданно. Я и не думал, что так получится.

— И не думай! — Тюгаев направился к выходу. — Да, завтра будь на планерке в восемь часов.

Сергей вяло пожал протянутую руку начальника и стал убирать со стола обьедки. В бутылке остался коньяк, он слил его в чайную чашку и одним судорожным глотком выпил. В голове приятно зашумело. Крылов вышел из цеха, сел на ящик и закурил.

Мимо него проходили рабочие второй смены, здоровались, он отвечал им кивком головы. День клонился к вечеру, подул ветер, сметал с асфальтированной площадки мусор, и на пустыре тихо шумела спелая полынь.

Сергей нашел Ложкина в подвале безалкогольного цеха. Тот веником подметал мусор

возле круглого алюминиевого бачка, вмурованного в бетонный пол подвала. По обе стороны стояли огромные бочки на деревянных лежаках, терпко пахло виноградом и яблоками.

— Ты посмотри, Сергей, — сказал Ложкин, показывая на кучу мусора. — Вроде интеллигентные люди пьют, а окурков после них, как на стадионе.

— А ты входные билеты продавай. Все какая-никакая прибыль.

— Да ну их! Пусть пьют, мне не жалко, только людьми надо быть. На той неделе один следователь прямо в бак с вином головой ухнул. Я б их поганой метлой отсюда, так директору давай деловые связи обеспечивай. Ты не опробуешь свежее поступление? Я попробовал, вроде нормальный виноградный сок завезли.

Ложкин взял резиновый шланг и нацедил из двухтысячелитровой бочки стакан виноградного сока.

— Ну как? Нормально? Ну, этим оглоедам я его не дам. Пусть яблочный сосут. Пошли ко мне.

В цехе звенела и грохотала линия розлива газированной воды.

— Видел? — спросил Ложкин, когда они зашли к нему в конторку. — Ломает бутылки только так. В смену штук двадцать-тридцать, да упрут в два раза больше.

— Тебе же списали десять тысяч бутылок два месяца назад.

— А что толку? У меня опять стеклобоя тонны три. Опять комиссию надо собирать.

Крылов был членом этой комиссии. Прошлый раз они собрались, взяли двадцать пустых бутылок, разбили их, взвесили и высчитали, сколько в среднем весит одна бутылка. Ложкин предъявил комиссии квитанцию на сдачу стеклобоя. Ее подкололи к составленному акту.

Ложкин достал бутылку коньяка и поставил на стол.

— Знаешь, Сергей! За день набегаешься, наслушаешься, наговоришься, что голова гудит. Может, с коньяка полегчает, а?

— Мы с Тюгаевым уже одну оприходовали.

— Это я ему дал. Знаешь, он старик неплохой, но ты с ним поосторожней, прикус у него

волчий. Исподтишка может гадость сотворить, если что не по нему. Хотя что там у вас! Мука, вода. И припека нет. В хлебном хоть припек.

Сергей промолчал. Ложкин нечаянно напомнил ему о деньгах, которые лежали у него в нагрудном кармане рубахи, он даже не переложил их подальше. Подумал, что надо бы это сделать не мешкая.

Позвонил телефон, Ложкин снял трубку, поздоровался с кем-то и сказал:

– Хорошо, приезжайте!

– А что ты имел в виду, – спросил Сергей, когда он положил трубку, – говоря о Тюгаеве?

– Да ничего, – пожал плечами Ложкин. – Просто он остался один на комбинате из начальников цехов, когда посадили прежнее начальство. Про него говорят, что он любит чужими руками жар загребать.

Крылов невольно покраснел и отвернулся, чтобы не выдать себя, к окну. Все правда, подумалось ему, именно так Тюгаев и сегодня провернул его руками. Сам он нигде не расписывался, в случае чего сделает морду лопатой и от всего отопрется. Впрочем, недолго ему осталось до пенсии, всего полгода, но и эти полгода надо вынести. А может, пора кончать со своей невинностью? Быть у воды да не напиться? Ложкин тоже, видать, крутит, поэтому бутылок у него постоянно не хватает. Эти мысли вернули Сергею уверенность в себе. Он засунул поглубже в карман деньги и махнул рукой, подзывая к окну Ложкина.

– Твои гости едут!

К цеху подъезжали три «Волги». Шоферы, видимо, бывали здесь не раз, потому что остановились в сторонке, чтобы не мешать проезду других машин.

– Подожди, я сейчас! – заторопился Ложкин.

Через окно Сергей видел, как он сбежал по крыльцу и начал, улыбаясь, пожимать руки приехавшим явно чиновного вида людям. Потом жестом пригласил их следовать за собой. Все они скрылись в подвале, а «Волги» уехали.

«По времени работают, – догадался Крылов. – Часика через два подойдут шоферы, погрузят тела и развезут по домам».

Ему тоже захотелось домой. Сегодня, и он

понимал это, он с деньгами будет чувствовать себя увереннее под презрительным и тусклым взглядом тестя. «Только все деньги не отдам, – решил он. – Дам сотню, а полторы положу на сберкнижку».

В конторку вошел запыхавшийся Ложкин.

– Ну, брат, и команда приехала! Я их на замок запер. А ты что бутылку не открываешь?

– Что-то не хочется, – отказался Сергей. – Я домой пойду, оставь на потом.

– А что оставлять! – махнул рукой Ложкин.

– Забирай с собой. У меня этого добра целая машина.

Крылов завернул бутылку в газету, попрощался с Ложкиным и задами через пустырь, заросший полынью, пошел домой. В руке он ощущал приятную тяжесть бутылки, а в нагрудном кармане похрустывали денежки. И если бы кто встретился ему сейчас на узкой мелькающей среди полыни тропинке, то он никогда не уступил бы ему дорогу.

По дороге он зашел в магазин, купил пакет концентратного супа, бутылку молока, хлеба и дешевых конфет.

Двор дома был завешан мокрыми простынями, тесть поливал гладиолусы, а Люба мыла посуду на кухне.

– На вот, – бодро сказал Сергей, подавая пакет супа жене. – Свари, а то проголодался. Ничего, Люба! До полочки дотянем, а там я что-нибудь придумаю.

Люба взяла пакет, налила воды в кастрюлю и поставила на газовую плиту.

– Да, – сказала она, прочитав инструкцию на пакете. – И мясо, и крупа, и даже соль. Ну и ну...

Через порог в кухню на четвереньках забралась Зойка. Сергей подхватил ее на руки и подбросил вверх. Дочка заулыбалась, потянулась к отцу руками.

Люба поставила перед ним тарелку супа и положила кусок черного хлеба. Сергей отхлебнул несколько раз и вдруг встрепенулся.

– А ты чего не садишься?

– Я не хочу.

– Как это не хочешь! – вскипел Сергей. – Мне это непонятно.

– А чего непонятного? Не хочу, и все!

– Так! – Сергей бросил на стол ложку. – Значит, ты будешь жрать вместе с ними, а я отдельно от семьи, как собака?..

Люба, не отвечая, взяла дочку на руки. Этот защитный инстинкт жены разозлил окончательно. Пена бешенства начала застилать его разум, в глазах потемнело, он побледнел и свистящим шепотом выдохнул:

– Ах ты, сволочь! Вот, значит, как ты решила. Ну, так знай: всему есть предел. Понимаешь, черта есть. И если ты за нее сейчас переступишь, мы – чужие люди!..

Любу прорвало слезами. И это были слезы обиды.

– Надоело! Все надоело! Другие как люди живут, а тут хуже домработницы!

Зойка заплакала, заверещала. Люба сунула ей в рот тощую синеватую грудь, но дочка выплюнула ее и заорала еще громче.

В дверном проеме показался Петр Григорьевич, навис медведем над зятем.

– Что это у вас тут происходит? – зарокотал тесть. – Прекратите сейчас же, а то я вас вышвырну из дома – и тебя, и петушка твоего!

Сергей вскочил со стула и боднул головой Петра Григорьевича в подбородок. С утробным мычанием тесть вылетел из кухни и рухнул на штaketник, сломав куст смородины.

– Убил! Убил! – заголосила Люба и кинулась в дом.

Тесть ворочался на земле, подминая под себя гладиолусы, и матерился.

– Что, добавить еще, боров?! – спросил Сергей, ощупывая вскочившую на голове шишку.

– Посажу! Я тебя посажу, вы*****! – хрипел тесть, поднимаясь на четвереньки. – Ты меня еще попомнишь!

Но Сергей уже его не слушал. Ощущение пустоты охватило его и понесло, как ветер перекати-поле. Он забежал в дом, схватил рюкзак, сунул в него спортивный костюм, полотенце и мыло, сдернул с вешалки куртку и выскочил на улицу. Уже на окраине города, голосуя проезжающим мимо машинам, он вспомнил, что не взял с собой документы, но нисколько об этом не пожалел. В той жизни, которую он начал, они были ему не нужны.

□

Николай Алексеевич ПОЛОТНЯНКО

родился в 1943 году в Алтайском крае.

Окончил Литературный институт имени А.М. Горького.

Прозаик, поэт, публицист.

Автор романов, в том числе трилогии («Государев наместник»,

«Атаман всяя гулевой Руси», «Клад Емельяна Пугачева»,

ЭКСМО (2007–2009), а также поэтических книг:

«Братина» (1977), «Просёлок» (1982), «Круги земные» (1989),

«Журавлиный оклик» (2008), «Русское зарево» (2011),

«Бунт совести» (2015), «Судьба России» (2016) и др.

Основатель журнала «Литературный Ульяновск»

и главный редактор (2006–2018).

Награждён литературной премией имени И.А. Гончарова (2008),

Почётной медалью имени Н.М. Карамзина (2011),

орденом Достоевского 1-й степени (Пермский край, 2014),

а также литературной премией журнала «Север» (2023) и др.

